

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

ЖИЛИ-БЫЛИ

Часть сборника: Повести и рассказы (сборник)

Леонид Николаевич Андреев

Жили-были

Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172403
Красный смех: Эксмо-Пресс, Эксмо-Маркет; М.: 2000
ISBN 5-04-004476-3

Аннотация

«Богатый и одинокий купец Лаврентий Петрович Кошеверов приехал в Москву лечиться, и, так как болезнь у него была интересная, его приняли в университетскую клинику. Свой чемодан с вещами и шубу он оставил внизу, в швейцарской, а вверху, где находилась палата, с него сняли черную суконную пару и белье и дали в обмен казенный серый халат, чистое белье, с черной меткой «Палата № 8», и туфли. Рубашка оказалась для Лаврентия Петровича мала, и нянька пошла искать новую...»

Содержание

1	4
2	14
3	22
4	34

Леонид Андреев

Жили-были

1

Богатый и одинокий купец Лаврентий Петрович Кошеверов приехал в Москву лечиться, и, так как болезнь у него была интересная, его приняли в университетскую клинику. Свой чемодан с вещами и шубу он оставил внизу, в швейцарской, а вверху, где находилась палата, с него сняли черную суконную пару и белье и дали в обмен казенный серый халат, чистое белье, с черной меткой «Палата № 8», и туфли. Рубашка оказалась для Лаврентия Петровича мала, и нянька пошла искать новую.

– Уж очень вы велики! – сказала она, выходя из ванной, в которой производилось переодевание больных.

Полуобнаженный Лаврентий Петрович терпеливо и покорно ожидал и, наклонив большую лысую голову, сосредоточенно рассматривал свою высокую, отвислую, как у старой женщины, грудь и припухший живот, лежавший на коленях. Каждую субботу Лаврентий Петрович бывал в бане и видел там свое тело, но

теперь, покрывшееся от холода мурашками, бледное, оно показалось ему новым и, при всей своей видимой силе, очень жалким и больным. И весь он казался не принадлежащим себе с той минуты, когда с него сняли его привычное платье, и готов был делать все, что прикажут. Вернулась с бельем нянька, и, хотя силы у Лаврентия Петровича оставалось еще настолько, что он мог пришибить няньку одним пальцем, он послушно позволил ей одеть себя и неловко просунул голову в рубашку, собранную в виде хомута. С тою же покорною неловкостью он ждал, закинув голову, пока нянька завязывала у ворота тесемки, и затем пошел вслед за нею в палату. И ступал он своими медвежьими вывернутыми ногами так нерешительно и осторожно, как делают это дети, которых неизвестно куда ведут старшие, – может быть, для наказания. Рубашка все же оказалась ему узка, тянула при ходьбе плечи и трещала, но он не решился заявить об этом няньке, хотя дома, в Саратове, один его суровый взгляд заставлял судорожно метаться десятки людей.

– Вот ваше место, – указала нянька на высокую чистую постель и стоявший возле нее небольшой столик. Это было очень маленькое место, только угол палаты, но именно поэтому оно понравилось измученному жизнью человеку. Торопливо, точно спасаясь от погони, Лаврентий Петрович снял халат, туфли и лег.

И с этого момента все, что еще только утром гневало и мучило его, отошло от него, стало чужим и неважным. Память его быстро, в одной молниезарной картине, воспроизвела всю его жизнь за последние годы: неумолимую болезнь, день за днем пожиравшую силы; одиночество среди массы алчных родственников, в атмосфере лжи, ненависти и страха; бегство сюда, в Москву, – и так же внезапно потушила эту картину, оставив на душе одну тупую, замирающую боль. И без мыслей, с приятным ощущением чистого белья и покоя, Лаврентий Петрович погрузился в тяжелый и крепкий сон. Последними мелькнули в его полузакрытых глазах снежно-белые стены, луч солнца на одной стене, и потом наступили часы долгого и полного забвения.

На другой день над головою Лаврентия Петровича появилась надпись на черной дощечке: «Купец Лаврентий Кошеверов, 52 л., поступил 25 февраля». Такие же дощечки и надписи были у двух других больных, находившихся в восьмой палате; на одной стояло «Дьякон Филипп Сперанский, 50 л.» на другой – «Студент Константин Торбецкий, 23 лет». Белые меловые буквы красиво, но мрачно выделялись на черном фоне, и, когда больной лежал навзничь, закрыв глаза, белая надпись продолжала что-то говорить о нем, приобретала сходство с надмогильными опове-

щениями, что вот тут, в этой сырой или мерзлой земле, зарыт человек. В тот же день Лаврентия Петровича свешали – оказалось в нем шесть пудов двадцать четыре фунта. Сказав эту цифру, фельдшер слегка улыбнулся и пошутил:

– Вы самый тяжелый человек на все клиники.

Фельдшер был молодой человек, говоривший и поступавший как доктор, так как только случайно он не получил высшего образования. Он ожидал, что в ответ на шутку больной улыбнется, как улыбались все, даже самые тяжелые больные на одобрительные шутки докторов, но Лаврентий Петрович не улыбнулся и не сказал ни слова. Глубоко запавшие глаза смотрели вниз, и массивные скулы, поросшие редкой седоватой бородой, были стиснуты, как железные. И ожидавшему ответа фельдшеру сделалось неловко и неприятно: он уже давно, между прочим, занимался физиогномикой и по обширной матовой лысине причислил купца к отделу добродушных; теперь приходилось переместить его в отдел злых. Все еще не доверяя своим наблюдениям, фельдшер – звали его Иваном Ивановичем – решил со временем попросить у купца какую-нибудь его собственноручную записку, чтобы по характеру почерка сделать более точное определение его душевных свойств.

Вскоре после взвешивания Лаврентия Петровича

впервые осматривали доктора; одеты они были в белые балахоны и оттого казались особенно важными и серьезными. И затем каждодневно они осматривали его по разу, по два, иногда один, и чаще в сопровождении студентов. По требованию докторов Лаврентий Петрович снимал рубашку и все так же покорно ложился на постель, возвышаясь на ней огромной мясистой грудой. Доктора стучали по его груди молоточком, прикладывали трубку и слушали, перекидываясь друг с другом замечаниями и обращая внимание студентов на те или иные особенности. Часто они начинали расспрашивать Лаврентия Петровича о том, как он жил раньше, и он неохотно, но покорно отвечал. Выходило из его отрывочных ответов, что он много ел, много пил, много любил женщин и много работал; и при каждом новом «много» Лаврентий Петрович все менее узнавал себя в том человеке, который рисовался по его словам. Странно было думать, что это действительно он, купец Кошеверов, поступал так плохо и вредно для себя. И все старые слова: водка, жизнь, здоровье – становились полны нового и глубокого содержания.

Выслушивали и выстукивали его студенты. Они часто являлись в отсутствие докторов, и одни коротко и прямо, другие с робкою нерешительностью просили его раздеться, и снова начиналось внимательное

и полное интереса рассматривание его тела. С сознанием важности производимого ими дела они вели дневник его болезни, и Лаврентию Петровичу думалось, что весь он перенесен теперь на страницы записей. С каждым днем он все менее принадлежал себе, и в течение целого почти дня тело его было раскрыто для всех и всем подчинено. По приказанию няnek он тяжело носил это тело в ванную или сажал его за стол, где обедали и пили чай все могущие двигаться больные. Люди ощупывали его со всех сторон, занимались им так, как никто в прежней жизни, и при всем том в продолжение целого дня его не покидало смутное чувство глубокого одиночества. Похоже было на то, что Лаврентий Петрович куда-то очень далеко едет, и все вокруг него носило характер временности, непригодности для долгого житья. От белых стен, не имевших ни одного пятна, и высоких потолков веяло холодной отчужденностью; полы были всегда слишком блестящи и чисты, воздух слишком ровен – в самых даже чистых домах воздух всегда пахнет чем-то особенным, тем, что принадлежит только этому дому и этим людям. Здесь же он был безразличен и не имел запаха. Доктора и студенты были всегда внимательны и предупредительны: шутили, похлопывали по плечу, утешали, но, когда они отходили от Лаврентия Петровича, у него являлась мысль, что это были возле него

служащие, кондуктора на этой неведомой дороге. Уже тысячи людей перевезли они и каждый день перевозят, и их разговоры и расспросы были только вопросами о билете. И чем больше занимались они телом, тем глубже и страшнее становилось одиночество души.

– Когда у вас бывают приемные дни? – спросил Лаврентий Петрович няньку. Он говорил коротко, не глядя на того, к кому были обращены слова.

– По воскресеньям и четвергам. Но если попросить доктора, то можно и в другие дни, – словоохотливо ответила нянька.

– А можно сделать так, чтобы совсем ко мне не пускали?

Нянька удивилась, но ответила, что можно, и этот ответ, видимо, обрадовал угрюмого больного. И весь этот день он был немного веселее и хотя не стал разговорчивее, но уже не с таким хмурым видом слушал все, что весело, громко и обильно болтал ему больной дьякон.

Приехал дьякон из Тамбовской губернии и в клинику поступил на один день раньше Лаврентия Петровича, но был уже хорошо знаком с обитателями всех пяти палат, помещавшихся наверху. Он был невысок ростом и так худ, что при раздевании у него каждое ребро вылеплялось, а живот втягивался, и все его слабо-

сильное тельце, белое и чистое, походило на тело десятилетнего несложившегося мальчика. Волоса у него были густые, длинные, иссера-седые и на концах желтели и закручивались. Как из большой, не по рисунку, рамки выглядывало из них маленькое, темное лицо с правильными, но миниатюрными чертами. По сходству его с темными и сухими лицами древних образов фельдшер Иван Иванович причислил дьякона к отделу людей суровых и нетерпимых, но после первого же разговора изменил свой взгляд и даже на некоторое время разочаровался в значении науки физиогномики. Отец дьякон, как все его называли, охотно и откровенно рассказывал о себе, о своей семье, о своих знакомых и так любознательно и наивно расспрашивал о том же других, что никто не мог сердиться и все так же откровенно рассказали. Когда кто-нибудь чихал, о дьякон издали кричал веселым голосом:

– Исполнение желаний! За милую душу! – и кланялся.

К нему никто не приходил, и он был тяжело болен, но он не чувствовал себя одиноким, так как познакомился не только со всеми больными, но и с их посетителями, и не скучал. Больным он ежедневно по нескольку раз желал выздороветь, здоровым желал, чтобы они в веселье и благополучии проводили время, и всем находил сказать что-нибудь доброе и при-

ятное. Каждое утро он всех поздравлял: в четверг – с четвергом, в пятницу – с пятницей, и, что бы ни творилось в воздухе, которого он не видел, он постоянно утверждал, что погода сегодня приятная на редкость. При этом он постоянно и радостно смеялся продолжительным и неслышным смехом, прижимал руки ко впалому животу, хлопал по коленям руками, а иногда даже бил в ладоши. И всех благодарил – иногда трудно было решить, за что. Так, после чая он благодарил угрюмого Лаврентия Петровича за компанию.

– Так это мы с вами хорошо чайку попили – по-небесному! Верно, отец, а? – говорил он, хотя Лаврентий Петрович пил чай отдельно и никому компании составлять не мог.

Он очень гордился своим дьяконским саном, который получил только три года назад, а раньше был псаломщиком. И у всех – и у больных, и у проходящих – он спрашивал, какого роста их жены.

– А у меня жена очень высокая, – с гордостью говорил он после того или иного ответа. – И дети все в нее. Гренадеры, за милую душу!

Все в клиниках – чистота, дешевизна, любезность докторов, цветы в коридоре – вызывало его восторг и умиление. То смеясь, то крестясь на икону, он изливал свои чувства перед молчащим Лаврентием Петровичем и, когда слов не хватало, восклицал:

– За милую душу! Вот как перед богом, за милую душу!

Третьим больным в восьмой палате был черный студент Торбецкий. Он почти не вставал с постели, и каждый день к нему приходила высокая девушка со скромно опущенными глазами и легкими, уверенными движениями. Стройная и изящная, в своем черном платье, она быстро проходила коридор, садилась у изголовья больного студента и просиживала от двух ровно до четырех часов, когда, по правилам, кончался прием посетителей и няньки подавали больным чай. Иногда они много и оживленно говорили, улыбаясь и понижая голос, но случайно вырывались отдельные громкие слова, как раз те, которые нужно было сказать шепотом: «Радость моя!» – «Я люблю тебя»; иногда они подолгу молчали и только глядели друг на друга загадочным, затуманенным взглядом. Тогда о. дьякон кашлял и со строгим деловым видом выходил из палаты, а Лаврентий Петрович, притворявшийся спящим, видел сквозь прищуренные глаза, как они целовались. И в сердце у него загоралась боль, и биться оно начинало неровно и сильно, а массивные скулы выдавались буграми и двигались. И с той же холодной отчужденностью смотрели белые стены, и в их безупречной белизне была странная и грустная насмешка.

2

День в палате начинался рано, когда еще только мутно серело от первых лучей рассвета и был длинный, светлый и пустой. В шесть часов больным подавали утренний чай, и они медленно пили его, а потом ставили градусники, измеряя температуру. Многие, как о. дьякон, впервые узнали о существовании у них температуры, и она представлялась чем-то загадочным, и измерение ее – делом очень важным. Небольшая стеклянная палочка со своими черными и красными черточками становилась показательницей жизни, и одна десятая градуса выше или ниже делали больного веселым или печальным. Даже вечно веселый о. дьякон впадал в минутное уныние и недоуменно качал головой, если температура его тела оказывалась ниже той, которую ему называли нормальной.

– Вот, отец, штука-то. Аз и ферт, – говорил он Лаврентию Петровичу, держа в руке градусник и с неодобрением рассматривая его.

– А ты поддержи еще, поторгуйся, – насмешливо отвечал Лаврентий Петрович.

И о. дьякон торговался и, если ему удавалось добыть еще одну десятую градуса, становился весел и горячо благодарил Лаврентия Петровича за науку. Из-

мерение настраивало мысли на целый день на вопросы о здоровье, и все, что рекомендовалось докторами, выполнялось пунктуально и с некоторой торжественностью. Особенную торжественность в свои действия вносил о. дьякон и, держа градусник, глотая лекарство или выполняя какое-нибудь отправление, делал лицо важным и строгим, как при разговоре о посвящении его в сан. Ему дали, для надобностей анализа, несколько стаканчиков, и он в строжайшем порядке расставил их, а номера – первый, второй, третий... – попросил надписать студента, так как сам писал недостаточно красиво. На тех больных, которые не исполняли предписаний докторов, он сердился и постоянно со строгостью увещевал толстяка Минаева, лежавшего в десятой палате: Минаеву доктора не велели есть мяса, а он потихоньку таскал его у соседей по обеденному столу и, не жуя, глотал.

С семи часов палату заливал яркий дневной свет, проходивший в громадные окна, и становилось так светло, как в поле, и белые стены, постели, начищенные медные тазы и полы – все блестело и сверкало в этом свете. К самым окнам редко кто-нибудь подходил: улица и весь мир, бывший за стенами клиники, потеряли свой интерес. Там люди жили; там, полная народа, пробегала конка, проходил серый отряд солдат, проезжали блестящие пожарные, открывались и

закрывались двери магазинов – здесь больные люди лежали в постелях, едва имея силы поворотить к свету ослабевшую голову; одетые в серые халаты, вяло бродили по гладким полям; здесь они болели и умирали. Студент получал газету, но ни он сам, ни другие почти не заглядывали в нее, и какая-нибудь неправильность в отпращивании желудка у соседа волновала и трогала больше, чем война и те события, которые потом получают название мировых. Около одиннадцати часов приходили доктора и студенты, и опять начинался внимательный осмотр, длившийся часами. Лаврентий Петрович лежал всегда спокойно и смотрел в потолок, отвечая односложно и хмуро; о. дьякон волновался и говорил так громко и так невразумительно, с таким желанием всем доставить удовольствие и всем оказать уважение, что его трудно было понять.

О себе он говорил:

– Когда я пожаловал в клинику...

О няньке передавал:

– Они изволили поставить мне клизму...

Он всегда в точности знал, в каком часу и в какую минуту была у него изжога или тошнота, в каком часу ночи он просыпался; благодарил, умилялся и бывал очень доволен собою, если ему удавалось при прощании сделать не один общий поклон всем докторам, а каждому порознь.

– Так это чинно, – радовался он, – по-небесному!

И еще раз показывал молчавшему Лаврентию Петровичу и улыбающемуся студенту, как он сделал поклон сперва доктору Александру Ивановичу и потом доктору Семену Николаевичу.

Он был болен неизлечимо, и дни его были сочтены, но он этого не знал, с восторгом говорил о путешествии в Троице-Сергиеву лавру, которое он совершит по выздоровлении, и о яблоне в своем саду, которая называлась «белый налив» и с которой нынешним летом он ожидал плодов. И в хороший день, когда стены и паркетный пол палаты щедро заливались солнечными лучами, ни с чем не сравнимыми в своей могучей силе и красоте, когда тени на снежном белье постелей становились прозрачно-синими, совсем летними, о. дьякон напевал трогательную песнь:

«Высшую небес и чистейшую светлостей солнечных, избавившую нас от клятвы, владычицу мира песнями почтим!..»

Голос его, слабый и нежный тенор, начинал дрожать, и в волнении, которое он старался скрыть от окружающих, о. дьякон подносил к глазам платок и улыбался.

Потом, пройдясь по комнате, он вплотную подходил к окну и вскидывал глаза к глубокому, безоблачному небу: просторное, далекое от земли, безмятежно кра-

сивое, оно само казалось величавою божественной песнью. И к ее торжественным звукам робко присоединялся дрожащий человеческий голос, полный трепетной и страстной мольбы:

«От многих моих грехов немоществует тело, немоществует и душа моя: к тебе прибегаю, благодатней, надежде ненадежных, ты мне помози!..»

В определенный час подавался обед, снова чай и ужин, а в девять часов электрическая лампочка задргивалась синим матерчатым абажуром, и начиналась такая же длинная и пустая ночь.

Клиники затихали.

Только в освещенном коридоре, куда выходили постоянно открытые двери палат, вязали чулки сиделки и тихо шептались и переругивались, да изредка, громко стуча ногами, проходил кто-нибудь из служителей, и каждый его шаг выделялся отчетливо и замирал в строгой постепенности. К одиннадцати часам замирали и эти последние отголоски минувшего дня, и звонкая, словно стеклянная, тишина, чутко сторожившая каждый легкий звук, передавала из палаты в палату сонное дыхание выздоравливающих, кашель и слабые стоны тяжелых больных. Легки и обманчивы были эти ночные звуки, и часто в них таилась страшная загадка: хрипит ли больной, или же сама смерть уже бродит среди белых постелей и холодных стен.

Кроме первой ночи, в которую Лаврентий Петрович забылся крепким сном, все остальные ночи он не спал, и они полны были новых и жутких мыслей. Закинув волосатые руки за голову, не шевелясь, он пристально смотрел на светившуюся сквозь синий абажур изогнутую проволоку и думал о своей жизни. Он не верил в бога, и не хотел жизни, и не боялся смерти. Все, что было в нем, силы и жизни, все было растрачено и изжито без нужды, без пользы, без радости. Когда он был молод и волосы его кучерявились на голове, он воровал у хозяина; его ловили и жестоко, без пощады били, и он ненавидел тех, кто его бил. В средних годах он душил своим капиталом маленьких людей и презирал тех, кто попадался в его руки, и они платили ему жгучей ненавистью и страхом. Пришла старость, пришла болезнь – и стали обкрадывать его самого, и он ловил неосторожных и жестоко, без пощады бил их... Так прошла вся его жизнь, и была она одною горькою обидой и ненавистью, в которой быстро гасли летучие огоньки любви и только холодную золу да пепел оставляли на душе. Теперь он хотел уйти из жизни, позабыть, но тихая ночь была жестока и безжалостна, и он то смеялся над людской глупостью и глупостью своей, то судорожно стискивал железные скулы, подавляя долгий стон. С недоверием к тому, что кто-нибудь может любить жизнь, он поворачивал

голову к соседней постели, где спал дьякон. Долго и внимательно он рассматривал белый, неопределенный в своих очертаниях бугорок и темное пятно лица и бороды и злорадно шептал:

– Ду-ррак!

Потом он глядел на спящего студента, которого днем целовала девушка, и еще с большим злорадством поправлялся:

– Дура-ки!

А днем душа его замирала, и тело послушно исполняло все, что прикажут, принимало лекарство и ворочалось. Но с каждым днем оно слабело и скоро было оставлено почти в полном покое, неподвижное, громадное и в этой обманчивой громадности кажущееся здоровым и сильным.

Слабел и о. дьякон: меньше ходил по палате, реже смеялся, но когда в палату заглядывало солнце, он начинал болтать весело и обильно, благодарил всех – и солнце и докторов – и вспоминал все чаще о яблоне «белый налив». Потом он пел «Высшую небес», и темное, осунувшееся лицо его становилось более светлым, но также и более важным: сразу видно было, что это поет дьякон, а не псаломщик. Кончив петь, он подходил к Лаврентию Петровичу и рассказывал, какую бумагу ему дали при посвящении.

– Вот такая огромная, – показывал он руками, – и

по всей буквы, буквы. Какие черные, какие с золотой тенью. Редкость, ей-богу!

Он крестился на икону и с уважением к себе добавлял:

– А внизу печать архирейская. Огромная, ей-богу, – чисто ватрушка. Одно слово, за милую душу! Верно, отец?

И он закатисто смеялся, скрывая светлеющие глаза в сети тоненьких морщинок. Но солнце пряталось за серой снежной тучей, в палате тускнело, и, вздыхая, о. дьякон ложился в постель.

3

В поле и садах еще лежал снег, но улицы давно были чисты от него, сухи и в местах большой езды даже пыльны. Только из палисадников, обнесенных железными решетками, да со дворов выбегали тоненькие струйки воды и расплывались лужей по ровному асфальту; и от каждой такой лужи в обе стороны тянулись следы мокрых ног, вначале темные и частые, но дальше редкие и мало заметные, – как будто проходившая здесь толпа разом была подхвачена на воздух и опущена только у следующей лужи. Солнце лило в палату целые потоки света и так пригревало, что приходилось от него прятаться, как летом, и не верилось, что за тонкими стеклами окон воздух холоден, свеж и сыр. Сама палата, с ее высокими потолками, казалась при этом свете узким и душным закоулком, в котором нельзя протянуть руки, чтобы не наткнуться на стену. Голос улицы не проникал в клинику сквозь двойные рамы, но когда по утрам в палате открывали большую откидную фортку – внезапно, без переходов, врвался в нее пьяно-веселый и шумный крик воробьев. Все остальные звуки затихали перед ним, скромные и как будто обиженные, а он торжествующе разносился по коридорам, подымался по лестни-

цам, дерзко врывался в лабораторию, звонко перебегая по стеклянным колбочкам. Удаленные в коридор больные улыбались наивному, мальчишески-дерзкому крику, а о. дьякон закрывал глаза, протягивал вперед руки и шептал:

– Воробей! За милую душу, воробей!

Фортка закрывалась, звонкий воробьиный крик умирал так же внезапно, как и родился, но больные точно еще надеялись найти спрятанные отголоски его, торопливо входили в палату, беспокойно оглядывали ее и жадно дышали расплывающимися волнами свежего воздуха.

Теперь больные чаще подходили к окнам и подолгу простаивали у них, протирая пальцами и без того чистые стекла; неохотно, с ворчаньем ставили градусники и говорили только о будущем. И у всех будущее это представлялось светлым и хорошим, даже у того мальчика из одиннадцатой палаты, который однажды утром был перенесен сторожами в отдельный номер, а затем неведомо куда исчез – «выписался», как говорили няньки. Многие из больных видели, когда его переносили вместе с постелью в отдельный номер; несли его голову вперед, и он был неподвижен, только темные впавшие глаза переходили с предмета на предмет, и было в них что-то такое безропотно-печальное и жуткое, что никто из больных

не выдерживал их взгляда – и отворачивался. И все догадались потом, что мальчик умер, но никого эта смерть не взволновала и не испугала: здесь она была тем обыкновенным и простым, чем кажется она, вероятно, на войне. Умер за это время и другой больной из той же одиннадцатой палаты. Это был низенький и на вид довольно еще свежий старичок, разбитый параличом; ходил он переваливаясь, одним плечом вперед, и всем больным рассказывал одну и ту же историю: о крещении Руси при Владимире Святом. Что трогало его в этой истории, так и осталось неизвестным, так как говорил он очень тихо и непонятно, закругляя слова и скрадывая окончания, но сам он, видимо, был в восторге, размахивал правой рукой и вращал правым глазом – левая сторона тела была у него парализована. Если настроение его было хорошее, он заканчивал рассказ неожиданно громким и победным возгласом: «С нами бог!», после чего торопливо уходил, сконфуженно смеясь и наивно закрывая рукою лицо. Но чаще он бывал печален и жаловался, что ему не дают теплой ванны, от которой он обязательно должен поправиться. За несколько дней до смерти ему назначили вечером теплую ванну, и он весь тот день восклицал: «С нами бог!» – и смеялся; когда он уже сидел в ванне, проходившие мимо больные слышали торопливое и полное блажен-

ства воркование: это старичок в последний раз передавал наблюдавшему за ним сторожу историю о крещении Руси при Владимире Святом. В положении больных восьмой палаты заметных перемен не произошло: студент Торбецкий поправился, а Лаврентий Петрович и о. дьякон с каждым днем слабели: жизнь и сила выходили из них с такой зловещей беспомощностью, что они и сами почти не догадывались об этом, и казалось, что никогда они и не ходили по палате, а все так же спокойно лежали в постелях.

И все так же регулярно приходили доктора в своих белых балахонах и студенты, выслушивали и выстукивали и говорили между собою.

В пятницу, на пятой неделе великого поста, о. дьякона водили на лекцию, и вернулся он из аудитории возбужденный и разговорчивый. Он закатисто смеялся, как и в первое время, крестился и благодарил и по временам подносил к глазам платок, после чего глаза становились красными.

– Чего это вы плачете, отец дьякон? – спросил студент.

– Ах, отец, и не говорите, – с умилением отозвался дьякон, – так это хорошо, за милую душу! Посадили меня Семен Николаевич в кресло, сами стали рядом и говорят студентам: «Вот, – говорят, – дьякон...»

Здесь о. дьякон сделал важное лицо, нахмурился,

но слезы снова навернулись на его глазах, и, стыдливо отвернувшись, он пояснил:

– Уж очень трогательно читают Семен Николаевич! Так трогательно, что вся душа перевертывается. «Жил, – говорят, – был дьякон...»

Отец дьякон всхлипнул.

– Жил-был дьякон...

Дальше от слез о. дьякон продолжать не мог, но, уже улегшись в постель, из-под одеяла шепнул сдавленным голосом:

– Всю жизнь рассказали. Как это я был псаломщиком, недоедал. Про жену также, спасибо им, упомянули. Так трогательно, так трогательно: будто помер ты, и над тобою читают. «Жил, – говорит... – был, – говорит... – дьякон...»

И пока о. дьякон говорил, всем стало видно, что этот человек умрет, стало видно с такою непреложною и страшною ясностью, как будто сама смерть стояла здесь, между ними. Невидимым страшным холодом и тьмой повеяло от веселого дьякона, и, когда с новым всхлипыванием он скрылся под одеялом, Торбецкий нервно потер похолодевшие руки, а Лаврентий Петрович грубо рассмеялся и закашлялся.

Последние дни Лаврентий Петрович сильно волновался и непрестанно поворачивал голову по направлению к сиявшему сквозь окно голубому небу; изменив

своей неподвижности, он судорожно ворочался на постели, кряхтел и сердился на няnek. С тем же волнением он встречал доктора при ежедневном осмотре, и тот под конец заметил это. Был он добрый и хороший человек и участливо спросил.

– Что с вами?

– Скучно, – сказал Лаврентий Петрович. И сказал он это таким голосом, как говорят страдающие дети, и закрыл глаза, чтобы скрыть слезы. А в его «дневнике», среди заметок о том, каковы у больного пульс и дыхание и сколько раз его слабило, появилась новая отметка: «Больной жалуется на скуку».

К студенту по-прежнему приходила девушка, которую он любил, и щеки ее от свежего воздуха горели такой живой и нежной краской, что было приятно и почему-то немного грустно смотреть на них. Наклонясь к самому лицу Торбецкого, она говорила:

– Посмотри, какие горячие щеки.

И он смотрел, но не глазами, а губами, и смотрел долго и очень крепко, так как стал выздоравливать и силы у него прибавилось. Теперь они не стеснялись других больных и целовались открыто; дьякон при этом деликатно отвертывался, а Лаврентий Петрович, не притворяясь уже спящим, с вызовом и насмешливо смотрел на них. И они любили о. дьякона и не любили Лаврентия Петровича.

В субботу о. дьякон получил из дому письмо. Он ждал его уже целую неделю, и все в клинике знали, что о. дьякон ждет письмо, и беспокоились вместе с ним. Приободрившийся и веселый, он встал с постели и медленно бродил по палатам, всюду показывая письмо, принимая поздравления, кланяясь и благодаря. Всем давно уже было известно об очень высоком росте его жены, а теперь он сообщил о ней новую подробность.

– Здорово она у меня храпит. Когда ляжет в кровать, так ты ее хоть оглоблей бей – не подынешь. Храпит, да и все тут. Молодец, ей-богу!

Потом о. дьякон плутовато подмаргивал и восклицал:

– А этакую штуку видел? Отец, а отец?

И он показывал четвертую страницу письма, на которой неумелыми, дрожащими линиями был обведен контур растопыренной детской руки и посередине, как раз на ладони, было написано: «Тосик руку приложил». Перед тем как приложить руку, Тосик, по-видимому, был занят каким-нибудь делом, связанным с употреблением воды и грязи, так как на тех местах, что приходились против выпуклостей ладони и пальцев, бумага сохраняла явственные следы пятен.

– Внук-то, хорош? Четыре года всего, а умен, так умен, что не могу я вам этого выразить. Руку прило-

жил, а? – В восторге от остроумной шутки, отец дьякон хлопал себя руками по коленям и сгибался от приступа неудержимого, тихого смеха. И лицо его, давно не видевшее воздуха, изжелта-бледное, становилось на минуту лицом здорового человека, дни которого еще не сочтены. И голос его делался крепким и звонким, и бодростью дышали звуки трогательной песни:

«Высшую небес и чистейшую светлостей солнечных, избавившую нас от клятвы, владычицу мира песнями почтим!..»

В этот же день водили на лекцию Лаврентия Петровича. Пришел он оттуда взволнованный, с дрожащими руками и кривой усмешкой, сердито оттолкнул няньку, помогавшую ему ложиться в постель, и тотчас же закрыл глаза. Но о. дьякон, сам переживший лекцию, дождался момента, когда глаза Лаврентия Петровича приоткрылись, и с участливым любопытством начал допрашивать о подробностях осмотра.

– Как, отец, трогательно, а? Тоже небось и про тебя говорили: «Жил, – говорят, – был купец...»

Лицо Лаврентия Петровича гневно передернулось; обжегши дьякона взглядом, он повернулся к нему спиной и снова решительно закрыл глаза.

– Ничего, отец, ты не беспокойся. Выздоровеешь, да еще как откалывать-то начнешь – по-небесному! – продолжал отец дьякон. Он лежал на спине и мечта-

тельно глядел в потолок, на котором играл неведомо откуда отраженный солнечный луч. Студент ушел курить, и в минуты молчания слышалось только тяжелое и короткое дыхание Лаврентия Петровича.

– Да, отец, – медленно, с спокойной радостью говорил отец дьякон, – если будешь в наших краях, ко мне заезжай. От станции пять верст – тебя всякий мужик довезет. Ей-богу, приезжай, угощу тебя за милую душу. Квас у меня – так это выразить я тебе не могу, до чего сладостен!

Отец дьякон вздохнул и, помолчав, продолжал:

– К Троице я вот схожу. И за твое имя просфору выну. Потом соборы осмотрую. В баню пойду. Как они, отец, прозываются: торговые, что ли?

Лаврентий Петрович не ответил, и о. дьякон решил сам:

– Торговые. А там, за милую душу – домой!

Дьякон блаженно умолк, и в наступившей тишине короткое и прерывистое дыхание Лаврентия Петровича напоминало гневное сопение паровика, удерживаемого на запасном пути. И еще не рассеялась перед глазами дьякона вызванная им картина близкого счастья, когда в ухо его вошли непонятные и ужасные слова. Ужас был в одном их звуке; ужас был в грубом и злобном голосе, одно за одним ронявшем бессмысленные, жесткие слова.

– На Ваганьково кладбище пойдешь – вот куда!

– Что ты говоришь, отец! – не понимал дьякон.

– На Ваганьково, на Ваганьково, говорю, пора, – ответил Лаврентий Петрович. Он повернулся лицом к о. дьякону и даже голову спустил с подушки, чтобы ни одно слово не миновало того, в кого оно было направлено. – А то в анатомический тебя сволокут и так там тебя взрежут – за милую душу!

Лаврентий Петрович рассмеялся.

– Что ты, что ты, бог с тобой! – бормотал отец дьякон.

– Со мною-то ничего, а вот как тут покойника хоронят, так это потеха. Сперва руку отрежут – руку похоронят. Потом ногу отрежут – ногу похоронят. Так ино-го-то незадачливого покойника целый год таскают, перетаскать не могут.

Дьякон молчал и остановившимся взглядом смотрел на Лаврентия Петровича, а тот продолжал говорить. И было что-то отвратительное и жалкое в бесстыдной прямоте его речи.

– Смотрю я на тебя, отец дьякон, и думаю: старый ты человек, а глуп, прямо сказать, до святости. Ну и чего ты ерепенишься: «К Троице поеду, в баню пойду». Или вот тоже про яблоню «белый налив». Жить тебе всего неделю, а ты...

– Неделя?

– Ну да, неделя. Не я говорю – доктора говорят. Лежал я намедни, будто спал, а тебя в палате не было. Вот студенты и говорят: а скоро, говорят, нашему дьякону и того. Недельку протянет.

– Про-тя-не-ет?

– А ты думаешь, она помилует? – Слово «она» Лаврентий Петрович выговорил с страшной выразительностью. Затем он поднял кверху свой огромный бугроватый кулак и, печально полюбовавшись его массивными очертаниями, продолжал: – Вот, глянь-ка! Приложу кого, так тут ему аз и хверт и будет. А тоже... Ну да, тоже. Эх, дьякон пустоголовый: «К Троице, в баню пойду». Получше тебя люди жили, да и те помирали.

Лицо о. дьякона было желто, как шафран; ни говорить, ни плакать он не мог, ни даже стонать. Молча и медленно он опустился на подушку и старательно, убегая от света и от слов Лаврентия Петровича, завернулся в одеяло и притих. Но тот не мог не говорить: каждым словом, которым он поражал дьякона, он приносил себе отраду и облегчение. И с притворным добродушием он повторял:

– Так-то, отче. Через недельку. Как ты говоришь: аз и хверт? Вот тебе аз и хверт. А ты в баню – чудасия! Разве вот на том свете нас с тобой горячими вениками попарят – это, отчего же, очень возможно.

Но тут вошел студент, и Лаврентий Петрович

неохотно умолк. Он попробовал закрыться одеялом, как и о. дьякон, но скоро высунул голову из тьмы и насмешливо поглядел на студента.

– А сестрица-то ваша сегодня, вижу, опять не придут? – спросил он студента с тем же притворным добродушием и нехорошей улыбкой.

– Да, нездорова, – коротко от окна бросил студент хмурый ответ.

– Какая жалость! – покачал головой Лаврентий Петрович. – Что же такое с ними?

Но студент не ответил: кажется, он не слышал вопроса. Уже три раза девушка, которую он любил, пропускала часы свиданий; не придет она и сегодня. Торбецкий делал вид, что смотрит в окно на улицу так, от безделия, но в действительности старался заглянуть влево, где находился невидимый подъезд, и прижимался лбом к самому стеклу. И так между окном и часами, глядя то на одно, то на другое, провел он время обычного приема посетителей, от двух до четырех часов. Усталый и побледневший, он неохотно выпил стакан чаю и лег на постель, не заметив ни странной молчаливости о. дьякона, ни такой же странной разговорчивости Лаврентия Петровича.

– Не пришли сестрица! – говорил Лаврентий Петрович и улыбался нехорошей улыбкой.

4

В эту ночь, томительно-долгую и пустую, так же горела лампочка под синим абажуром, и звонкая тишина вздрагивала и пугалась, разнося по палатам тихие стоны, храп и сонное дыхание больных. Где-то упала на камень чайная ложка, и звук получился чистый, как от колокольчика, и долго еще жил в тихом и неподвижном воздухе. В палате № 8 никто не спал в эту ночь, но все лежали тихо и походили на спящих. Один Торбецкий, не думавший о присутствии в палате посторонних людей, беспокойно ворочался, ложась то на спину, то ниц, густо вздыхал и поправлял сползавшее одею. Раза два он ходил курить и, наконец, заснул, так как поздоровевший организм брал свое. И сон его был крепок, и грудь поднималась ровно и легко. Должно быть, и сны пришли к нему хорошие; на губах у него появилась улыбка и долго не сходила, странная и трогательная при глубокой неподвижности тела и закрытых глазах.

Далеко, в темной и пустынной аудитории, пробило три часа, когда в ухо начавшего дремать Лаврентия Петровича вошел тихий, дрожащий и загадочный звук. Он родился тотчас за музыкальным боем часов и в первую секунду показался нежным и красивым, как

далекая печальная песня. Лаврентий Петрович прислушался: звук ширился и рос и, все такой же мелодичный, походил теперь на тихий плач ребенка, которого заперли в темную комнату, и он боится тьмы и боится тех, кто его запер, и сдерживает бьющиеся в груди рыдания и вздохи. В следующую секунду Лаврентий Петрович проснулся совсем и разом понял загадку; плакал кто-то взрослый, плакал некрасиво, даваясь слезами, задыхаясь.

– Кто это? – испуганно спросил Лаврентий Петрович, но не получил ответа.

Плач замер, и от этого в палате стало еще печальнее и тоскливее. Белые стены были неподвижны и холодны, и не было никого живого, кому можно было бы пожаловаться на одиночество и страх и просить защиты.

– Кто это плачет? – повторил Лаврентий Петрович. – Дьякон, это ты?

Рыдание словно пряталось где-то тут же, возле Лаврентия Петровича, и теперь, ничем не сдерживаемое, вырвалось на свободу. Одеяло, укрывавшее о. дьякона, заколыхалось, и металлическая дощечка дребезжащим стуком ударилась об железку.

– Что ты! Что ты! – бормотал Лаврентий Петрович, сел на постель, задумался и потом медленно спустил на пол затекшие ноги. Когда он встал на них, в голо-

ву ему ударило чем-то теплым и шумящим – словно целый десяток жерновов завертелся и загрохотал в его мозгу, – дыхание прервалось, и потолок быстро поплыл куда-то вниз. С трудом удержавшись на ногах от приступа головокружения, ощущая толчки сердца так ясно, как будто изнутри груди кто-то бил молотком, Лаврентий Петрович отдышался и решительно перешагнул пространство, отделявшее его от постели о. дьякона, – полтора шага. Здесь ему снова пришлось передохнуть. Прерывисто и тяжело сопя носом, он положил руку на вздрагивающий бугорок, пододвинувшийся, чтобы дать ему место на постели, и просительно сказал:

– Не плачь. Ну, чего плакать? Боишься умирать?

Отец дьякон порывисто сдернул одеяло с головы и жалобно вскрикнул:

– Ах, отец!

– Ну, что? Боишься?

– Нет, отец, не боюсь, – тем же жалобным поющим голосом ответил дьякон и энергично покачал головой. – Нет, не боюсь, – повторил он и, снова повернувшись на бок, застонал и дрогнул от рыданий.

– Ты на меня не сердись, что я тебе давеча сказал, – попросил Лаврентий Петрович. – Глупо, брат, сердиться.

– Да я не сержусь. Чего я буду сердиться? Разве это

ты смерть накликал? Сама приходит... – И отец дьякон вздохнул высоким, все подымающимся звуком.

– Чего же ты плачешь? – все так же медленно и недоуменно спрашивал Лаврентий Петрович.

Жалость к о. дьякону начала проходить и сменилась мучительным недоумением. Он вопросительно переводил глазами с темного дьяконова лица на его седенькую бороденку, чувствовал под рукою бессильное трепыхание худенького тельца и недоумевал.

– Чего же ты реवेशь? – настойчиво спрашивал он. Отец дьякон охватил руками лицо и, раскачивая головой, произнес высоким, поющим голосом:

– Ах, отец, отец! Солнышка жалко. Кабы ты знал... как оно у нас... в Тамбовской губернии, светит. За ми... за милую душу!

– Какое солнце? – Лаврентий Петрович не понял и рассердился на дьякона. Но тут же он вспомнил тот поток горячего света, что днем вливался в окно и золотил пол, вспомнил, как светило солнце в Саратовской губернии на Волгу, на лес, на пыльную тропинку и поле, – и всплеснул руками, и ударил ими себя в грудь, и с хриплым рыданием упал вниз на подушку, бок о бок с головой дьякона. Так плакали они оба. Плакали о солнце, которого больше не увидят, о яблоне «белый налив», которая без них даст свои плоды, о тьме, которая охватит их, о милой жизни и жестокой

смерти. Звонкая тишина подхватывала их рыдания и вздохи и разносила по палатам, смешивая их с здоровым храпом сиделок, утомленных за день, со стонами и кашлем тяжелых больных и легким дыханием выздоравливающих. Студент спал, но улыбка исчезла с его уст, и синие мертвые тени лежали на его лице, неподвижном и в неподвижности своей грустном и страдающем. Немигающим, безжизненным светом горела электрическая лампочка, и белые высокие стены смотрели равнодушно и тупо.

Умер Лаврентий Петрович в следующую ночь, в пять часов утра. С вечера он крепко уснул, проснулся с сознанием, что он умирает и что ему нужно что-то сделать: позвать на помощь, крикнуть или перекреститься, – и потерял сознание. Высоко поднялась и опустилась грудь, дрогнули и разошлись ноги, свисла с подушки отяжелевшая голова, и размашисто скатился с груди массивный кулак. Отец дьякон услышал сквозь сон скрип постели и, не открывая глаз, спросил:
– Ты что, отец?

Но никто не ответил ему, и он снова уснул. Днем доктора уверили его, что он будет жить, и он поверил им и был счастлив: кланялся с постели одной головой, благодарил и поздравлял всех с праздником.

Счастлив был и студент и спал крепко, как здоровый. В этот день девушка приходила к нему, горячо

целовала его и просидела дольше назначенного часа
ровно на двадцать минут.

Солнце всходило.

5–16 февраля 1901 г.